

**Е. Г. ПЛИМАК**

## **РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ:**

По изданию: М., 1983. С.9-49

Веб-публикация: Eleonore и редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения ©

### **Глава I. ЗАВЕЩАНИЕ «ВЕКА РАЗУМА»**

Самым значительным событием XVIII века, оказавшим огромное влияние на развитие как западноевропейской, так и российской общественной мысли, была Великая французская революция. Печать этой революции, особенно ее заключительного, якобинского этапа, лежит и на последних работах родоначальника революционной мысли в России А.Н.Радищева, с анализа которых мы и начнем рассмотрение нашей темы.

#### **1. «Песнь историческая» - поэма на античные сюжеты?**

Революционная якобинская диктатура, организовавшая разгром внешнего врага, раздавившая внутренние мятежи, спасшая от голода Париж, через год оказывается сокрушенной изнутри; рушится под бременем неразрешимых социальных противоречий, гибнет от распрей, раздирающих ее вождей. Вслед за монархистами и соглашателями-жирондистами падают под натиском террора обвиненные в измене ревностные республиканцы: Ру, Эбер, Шометт, Дантон, Демулен. А позже на эшафот отправляются их обвинители - Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон.

На роковом заседании Конвента 9 термидора (27 июля) 1794 года, знаменовавшем наступление буржуазной контрреволюции, не только проснувшиеся от оцепенения обитатели «болота», но и бывшие соратники Робеспьера - депутаты-якобинцы приветствуют его падение. Они искренне убеждены, что спасают революцию, свергают «нового Кромвеля», «тирана». Это мнение разделяют в ту пору многие решительные республиканцы. Некоторые из них (например, Бабёф) довольно скоро осознают, что 9 термидора было не днем спасения, а днем гибели «свободы». Другие (например, Билло-Варенн или Вадье) «прозреют» лишь много лет спустя, пережив не только империю Бонапарта, но и реставрацию Бурбонов, не только термидорианский, но и монархический террор. Не одно десятилетие пройдет, пока прогрессивная мысль XIX века утвердит неумолимую истину: именно за год якобинской диктатуры, безжалостной рубки виновных и невинных голов, было довершено то великое дело, каким вошла в историю Французская революция, - подорван в своих основах отживший феодальный строй.

Долгие годы, в спорах и сомнениях, усваивала величественные и трагические уроки якобинизма освободительная мысль. Хотя революции XIX века отодвинули на второй план многие события прошлого, громкие прежде имена, ничто не могло ослабить впечатление от якобинского «царства террора», стереть из памяти имя человека, стоявшего в центре революционного урагана, тщетно пытавшегося удержать стихию разбушевавшихся человеческих страстей...

Все это так, может сказать осведомленный читатель, однако какое отношение имеет к якобинизму Радищев? Всего один раз помянул он Робеспьера, да и то не специально, а мимоходом, повествуя о давних временах - кровавом правлении римского тирана Суллы:

*Нет, ничто не уравнился  
Ему в лютости толикой,  
Робеспьер дней наших разве<sup>1</sup>.*

Может ли одна случайная фраза стать материалом для целой главы?

На вопрос ответим вопросом. Верно ли, что русский мыслитель посвятил якобинской диктатуре - величайшему в XVIII веке событию - одно и притом случайное высказывание?

«Песнь историческая», содержащая столь нелестное для Робеспьера сравнение, изучена сравнительно мало. Специалисты-античники не относят поэму к произведениям, достойным особого интереса, а исследователи творчества Радищева не считают себя компетентными в разборе деталей античных сюжетов. Между тем ключ к «античной» поэме надо искать отнюдь не в античности...

Два века тому назад для просвещенного человека Европы античность не представлялась чем-то безвозвратно ушедшим - она осязательно присутствовала почти во всех его помыслах и делах. Этому способствовали и характер тогдашнего классического образования, которое строилось преимущественно на латинских образцах, и еще больше деятельность плеяды блестящих учителей человечества - французских просветителей во главе с Монтескье, Мабли, Руссо.

На примерах героев Эллады и Рима просветители воспитывали своих современников, готовили (в зависимости от меры своего радикализма) и будущих «просвещенных монархов», и грядущих цареубийц. Так, от римских авторов - почитателей Траяна, Марка Аврелия берет начало концепция «просвещенного абсолютизма». Республиканская концепция «Общественного договора» Руссо также опиралась на античные источники. В той же римской литературе следует искать корни пессимистического взгляда просветителей на прошлое человечества. Все развитие Греции или Рима рисовалось ими по традиции (связанной с именами Ливия или Тацита) как путь от силы к бессилию, от величия к упадку, от добродетели к разврату. У тех же авторов заимствовались представление о первопричинах этого упадка (развращающее влияние роскоши и властолюбия), а также рецепты если не спасения человечества, то хотя бы удержания его от окончательной гибели (насаждение простоты нравов, возможно большее «уравнение» богатств).

Обращение к одной только античности не объясняет, конечно, всего генезиса Просвещения. Но для нас важно подчеркнуть, что от просветителей «античные» формы мышления были унаследованы вершителями Французской революции. Ораторы революции восхваляют «римскую твердость» третьего сословия, отказавшегося подчиниться в Генеральных штатах повелениям короля; Пале-Рояль, откуда раздался призыв к штурму Бастилии, именуется ими «Римским форумом»; Людовику XVI, особенно после его неудачного бегства из Парижа, грозят участью римского тирана Тарквиния; свержение монархии 10 августа 1792 года отмечается установлением бюстов Брута в клубах. Борцы революционной эпохи порой встречали смерть подобно некоторым античным героям - так, не желая принять ее от рук врагов, пытались заколоться кинжалами вожди парижского плебса Жак Ру и Гракх Бабёф.

В целом революционное возобновление культа античности, начатое еще в 1789 году публицистом Камиллом Демуленом, развивалось вместе с республиканской традицией, апогея оно достигло в период якобинской диктатуры, когда плебейская Франция украсила себя красным фригийским колпаком, а Конвент переместился в залу, отделанную в стиле «*du bel antique*». «Традиции всех мертвых поколений, - писал об этой поре К. Маркс, - тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории»<sup>2</sup>.

Спросим теперь, не приобрела ли подобного «осовремененного» звучания античность и в «Песни исторической» Радищева?

Сравнением «Песни исторической» с французскими образцами занимались, кажется, всего два автора - В.Мяковский и Г.А.Гуковский. Первый обнаружил, что в своей поэме Радищев следовал знаменитому трактату «Размышления о причинах величия и падения римлян» Монтескье<sup>3</sup>. Второй расширил этот вывод, отметив, что даже самый подбор имен и тем, вызвавших интерес Радищева, «характерен для радикальной публицистики XVIII в.»<sup>4</sup>.

Можно согласиться с исследователями - Радищев следовал радикальным мыслителям XVIII века. В основе его поэмы лежит все та же знакомая нам схема «падения» Эллады и Рима. Вместе с тем нельзя не видеть и отличия «Песни исторической» от классических образцов. В античной истории Радищева притягивает одно явление - роковая роль той «алчбы власти», которую выявили в Риме период гражданских войн, затем эпоха цезарей. О том же писал и Монтескье в своих «Размышлениях о причинах величия и падения римлян»: «Республика была, наконец, уничтожена; в этом исходе не следует обвинять честолюбие отдельных лиц, но человека вообще, который тем более стремится к власти, чем больше он ее имеет, и который, обладая многим, желает обладать всем»<sup>5</sup>. Но то, что было одним из сюжетов его «Размышлений», стало самодовлеющей темой «Песни исторической»:

*Иль се жребий есть всеобщий,  
Чтоб возвышенная сила  
Власть, могущество, блеск славы  
Упали, были гнусны?*<sup>6</sup>

*Иль се жребий есть всеобщий,  
Чтоб возвышенная сила  
Власть, могущество, блеск славы  
Упали, были гнусны?*<sup>6</sup>

Очевидно различие Радищева и Монтескье в акцентировке описаний одних и тех же событий античной истории. Так, в истории единоборства Карфагена и Рима Монтескье больше всего занимают ход боевых операций, причины побед и поражений знаменитого полководца Ганнибала<sup>7</sup>. Для Радищева же главное - бессмысленность и жестокость такого рода военных «подвигов» вообще:

*Ах! се ль слава, се ль иройство? -  
Разрушать единым мигом,  
Что столетия создали!*

С тем же мало свойственным бесстрастному летописцу Монтескье гневом Радищев рисует внутренние междоусобия, увенчавшие завоевательные походы римских полководцев, цезарианские режимы, выросшие из гражданских войн.

*Сулла меч свой, обагренной  
Кровию доселе чуждой,  
Он простер во сердце Рима.  
Заградив на жалость сердце,  
Хладнокровной был убийца*

*Всех, ему врагами бывших,  
И трепещущие члены  
Погубленных граждан Рима  
Его были услажденье<sup>8</sup>.*

**Е. Г. ПЛИМАК**

Таким предстает Рим в руках «ненасытца крови граждан» Суллы. А вот каков он под пятой Нерона, «чье имя в век осталось всех поноснее и гнусней»:

*Он убийственную руку  
Простирает на всех ближайших.  
Мать, наставники, супруга  
Всё сраженно упало  
Под мечем сего тирана,  
Столь мертвить людей умевша...<sup>9</sup>*

Текстовые отступления Радищева от Монтескье и разницу в тоне сличаемых произведений подметил еще В.Мияковский. Однако сюжетные вариации он не считал существенными, а различную тональность объяснил легко тем, что эмоциональность Радищева всего-навсего придавала «нужный колорит» поэтическому произведению. Пока не станем судить, так ли это. Вспомним о главном, что упустили из виду исследователи, сравнивавшие «Песнь историческую» с французской радикальной публицистикой XVIII века. Незадолго до того времени, когда создавалась поэма, во Франции принципиально изменились функции самой этой публицистики: экскурсы в историю «античности» стали служить обличению якобинской диктатуры...

Период острой борьбы в стане революции, завершившийся в 1794 году падением якобинского правительства, поставил новые проблемы, которых не знали (или почти не знали) просветители, готовившие французскую нацию к штурму абсолютизма.

Накануне и в начале революции расстановка сил и перспективы борьбы представлялись ее участникам достаточно четкими. Франция делилась на лагерь «свободы» и лагерь «деспотизма», во главе их стояли Национальное собрание, опиравшееся на восставший народ, и партия двора, опиравшаяся на поддержку «тиранов Европы». Несколько неясным в этой диспозиции было поначалу место Людовика XVI, ставшего после октября 1789 года королем французов не просто «милостью божией», а в «силу конституции». Оба лагеря стремились использовать эту фигуру в своих целях: патриоты, пытаясь превратить монарха в добровольного главу нации, аристократы - в центр объединения контрреволюционных сил. Ситуация была прояснена неудачным бегством «конституционного» короля из Парижа в июне 1791 года и обнаружением его тайной переписки. Лозунг завершения революции приобрел в устах вождей якобинцев в Конвенте чеканный вид: «Все злоупотребления будут жить до тех пор, пока будет жив король...»<sup>10</sup>

Но, правда, живая действительность зачастую оказывалась куда сложнее ясных представлений и чеканных лозунгов. Голодные санкюлоты (народные массы Парижа) восставали не только против аристократов; они громили спекулянтов - торговцев хлебом, сахаром, мылом. После того как правительство Жиронды объявило войну «тиранам Европы», стали все больше озлобляться имущие слои городов и деревень, недовольные реквизициями и мобилизациями военного времени. Само Национальное собрание раздирали несогласия, вызванные соперничеством революционных фракций и вождей, которые по-разному представляли себе сооружение здания «свободы». Однако вплоть до 1793 года в умах идеологов революции эти противоречия сводились все к тому же элементарному противопоставлению: партия «тиранов» против партии защитников «свободы». Волнения народа списывались за счет либо «анархии», либо деятельности «подстрекателей», разумеется, подкупленных двором, Кобленцом<sup>11</sup> или Питтом<sup>12</sup>. Соглашательством с королем объяснялась и непоследовательность стоявших у власти вождей революции.

В конце концов возмущения плебейских масс Парижа, возглавленных якобинцами, довели до крушения абсолютизма, начатое штурмом Бастилии 14 июля 1789 года. Восстание 10 августа 1792 года ликвидировало монархию. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 года изгнало из Конвента последнюю из соглашательских фракций - жирондистов. Но ни казнь короля, ни чистка Конвента не стали завершением революции. К середине 1793 года против «очищенного» Конвента в Париже поднялась новая волна возмущения, возглавленного на этот раз «бешеными»<sup>13</sup>. На страницах газет «Друг народа» и «Публицист Французской республики» Леклерк и Ру начинают призывать (как и соперничавший с ними Эбер) к «четвертой» революции, к уничтожению скупщиков, спекулянтов, «кровопийц», нажившихся за годы революции, к изгнанию из Конвента новых «продажных властителей». [На наших сайтах о [Леклерке](#), [Ру](#), [Эбере](#)]

Здесь нет необходимости рассказывать о событиях внутренней жизни республики между июлем 1793 и июлем 1794 года - расправе правительства Робеспьера с «бешеными» (затем эбертистами) и с их антиподами - «снисходительными», о последующем расколе внутри самой якобинской диктатуры. [Подборка документов «Фракционная борьба 1793-94 гг.»] Поговорим о том, что ближе к нашей теме, - об использовании «античных» сюжетов в годину жестокой междоусобной борьбы. А читателю, который может счесть углубление в столь «второстепенные» детали грандиозных революционных событий не вполне оправданным, напомним слова Ф.Энгельса: у мыслителей XVIII века «такие псевдо-исторические экскурсы всегда являются лишь словесным приемом, позволяющим рациональным образом объяснить возникновение чего-либо...»<sup>14</sup>.

В № 3 «Друга народа» за июль 1793 года Леклерк проводил любопытную параллель: «Наша рождающаяся республика являет картину всех пороков вырождающегося Рима: нас разъедают и пожирают эгоизм, коррупция, амбиция, роскошь, изнеженность, спесь и дух мести; между патриотами нет никакого единства: все стремятся к одному и тому же, но если, к несчастью, для достижения общей цели предлагаются различные пути, то вместо того, чтобы обсудить их и прийти к согласию, вступают в спор, затевают свару, в дело вмешивается глупое тщеславие, с этого времени общее благо уже ничего не значит - его место занимает дух партий... а средства, предназначенные для защиты родины, начинают применять для сокрушения соперника. Что получится из столкновения этих страстей, если мы не будем бдительными? Контрреволюция».

Преследования «бешеных» заставили и их вождя, редактора «Публициста» Жака Ру, открыть кампанию против якобинского режима, особенно против принятого 17 сентября 1793 года «закона о подозрительных». Истолкование этого закона, самого по себе справедливого, карающего смертью врагов республики и народа, «может быть столь расплывчатым, - писал он, - что, согласно букве декрета, под угрозой ареста окажется огромное количество французов... Я вынужден спросить: не живем ли мы в то проклятое время, когда иной человек обвинялся в нарушении закона об охране нации за то, что рассказал сон, другой за то, что продал стакан теплой воды, третий за то, что разделся перед статуей, четвертый за то, что он пошел в отхожее место с монетой в кармане, на которой была отчеканена голова императора. Я вынужден задать вопрос..., не появились ли среди нас Кайи, Нероны, Юлии Цезари, Германики?»

Корнелий Тацит, описания которого вспоминал здесь Жак Ру, стал, впрочем, союзником не одних только вождей «бешеных». Камилл Демулен, блестящий публицист фракции «снисходительных», в начале 1794 года вновь заставил римского историка сыграть роль обличителя якобинского режима на страницах № 3 «Старого кордельера»: «В Древнем Риме, как свидетельствует Тацит, существовал закон, определявший преступления перед государством и перед нацией, наказуемые смертной казнью... Императорам потребовалось всего несколько дополнительных статей, чтобы подвергнуть проскрипциям граждан и целые города... Во время этих царствований естественная смерть человека знаменитого или просто заметного была столь редкой, что отмечалась газетами как событие и передавалась историками на память веков... Донос стал единственным средством выбиться в люди, и скоро весь свет кинулся в погоню за высокими и столь доступными званиями... Если бы лев, став императором, составил свой двор из тигров и пантер, то и они не смогли бы разорвать в клочья большее число людей, чем это сделали доносчики, вольноотпущенники, отравители и головорезы цезарей, ибо зверство, порожденное голодом, прекращается с насыщением зверя, в то время как зверство, порожденное страхом, алчностью и подозрительностью тирана, не знает никаких пределов. До какой степени низости и падения мог докатиться человеческий род, когда подумаешь, что Рим терпел правительство чудовища, которое скорбело о том, что его правление не было ознаменовано каким-либо бедствием, чумой, голодом, землетрясением, которое завидовало счастью императора Августа, когда обрушившийся в Фидене амфитеатр задавил пятьдесят тысяч человек; одним словом, это чудовище желало лишь того, чтобы римский народ имел всего одну голову, дабы одним махом отрубить ее...»<sup>15</sup>

Разве не похожи на эти обличения Ру или Демулена радужные описания правлений римских цезарей:

*Правление Тиберия*

Тиран мрачной, он подернул  
Покрывалом тяжким скорби  
Рим; тогда не злодеянье  
В злодеяние вменялось;  
Но злодей - кого Тиверий  
Ненавидел или думал,  
Что опасен он быть может.  
Действие, невинна шутка,  
Одно слово, знак, иль мысли  
Все могло быть преступленьем.  
Там донос, ночное жало,  
В бритву ядом изощренно,  
Носят нагло днем во Риме.  
Сын отцу и отец сыну,  
Брату брат, супруг супруге,  
Господину раб, друг другу  
Чужды стали и опасны.  
Оком рыси соглядая,  
Лютость рыскала по стогнам  
И с улыбкою змеиной  
То чело знаменовала,  
Что падет при восходе солнца,  
Иль увянет при закате<sup>16</sup>.

### *Правление Калигулы:*

Юнош тихой и покорной  
Был, доколе высшей власти  
Не имел в своей деснице;  
Потом тигр всех паче лютой...  
Нравы, разум и законы,  
Человечество и честность  
Подавив пятою тяжкой,  
Каий омылся в кровях Рима;  
Он мучитель до безумства,  
Сожалел о том лишь только,  
Что народ, народ весь Римской  
Не одну главу имеет,  
Да сраженна одним махом  
Ниспадет ему в утеху...<sup>17</sup>

Если к этому присовокупить уже известное нам сравнение «ненасытца крови граждан» Суллы с Робеспьером, можно, видимо, с достаточным основанием говорить о близости «Песни исторической» тем зашифрованным под «античность» обличениям, которые вылились из-под пера Радищева в «Песнь историческую» или «справа» в якобинской Франции 1793-1794 годов.

### 2. «Из вольности рабство»

На страницах «античной» поэмы Радищева отчетливо слышны отзвуки событий, происходивших в якобинской Франции. И все же для того, чтобы выявить ход мыслей русского писателя-революционера, придется сравнивать Радищева не столько с Демуленом или Ру, сколько с Радищевым же.

Вернемся от малоизвестной «Песни исторической» к знаменитой оде «Вольность» - манифесту революционной веры Радищева 80-х годов. Постараемся протянуть нить от одного произведения к другому с предельной осторожностью: ведь «Вольность» писалась в годы громадного духовного подъема писателя, а «Песнь историческая» - в годы духовного надлома. И все же между появлением Мария и Суллы в оде и тех же персонажей в поэме есть прямая связь - такая же, какая существует между ролью, отведенной Кромвелю в первом из произведений и Робеспьеру - во втором...

Десять начальных строф «Вольности» - иллюстрация знаменитого афоризма Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах»<sup>18</sup>. Свободные от рождения люди подчиняются сначала общей власти, закону; но со временем божественный закон превращается в святой обман, свобода - в рабство, власть и вера начинают «союзно» угнетать общество.

Двадцать следующих строф - описание грядущей революции: приход «мстителя», восстание пробужденного его словом народа:

*Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит;  
В крови мучителя венчаина,  
Омыть свой стыд уж всяк спешит.  
Мечь остр, я зрю, везде сверкает;  
В различных видах смерть летает;  
Над гордою главою паря.  
Ликуйте склепанны народы;  
Се право мщенье природы  
На плаху возвело царя...<sup>19</sup>*

На четвертом десятке строф читатель оды наталкивается на трудности. Расписав царство утвердившейся «вольности», Радищев внезапно рисует его гибель:

*Но страсти изощряя злобу...  
Превращают спокойствие граждан в пагубу...  
Отца на сына воздвигают,  
Союзы брачны раздирают,  
И все следствия безмерного желанья властвовать...<sup>20</sup>*

Далее автор почему-то возвращается от недавних времен к античности, к Марию, Сулле, Августу<sup>21</sup>.

Присутствие римских героев в «Песни исторической» - поэме на античные сюжеты - вопросов не вызывало. Однако что делают те же персонажи в «Вольности» - оде, посвященной английской, американской революциям или грядущей революции в России?

Разгадка проста. На античной модели мыслитель ставил новую для просветительской идеологии XVIII века проблему - *возможность вырождения революционного народовластия в режим единоличной военной диктатуры*. Тема была навеяна событиями Английской революции XVII века, когда победа парламентской армии над роялистскими войсками и последовавшее провозглашение республики завершились узурпацией власти Кромвелем:

*Великий муж, коварства полный,  
Ханьжа, и льстец, и святотать!  
Един ты, в свет столь благотворный  
Пример великий, мог подать.  
Я чту Кромвель в тебе злодея,  
Что власть в руке своей имея,  
Ты твердь свободы сокрушил.  
Но научил ты в род и роды,  
Как могут мстить себя народы,  
Ты Карла, на суде, казнил...»<sup>22</sup>*

Современному читателю, хорошо знающему не только ближайшие последствия первой из великих буржуазных революций, нетрудно увидеть ограниченность подобного истолкования. Сложнейший переплет социальных антагонизмов, борьба различных политических сил сведены к противопоставлению «свободы» и «злодейства», к единоборству народа и его вождя с королем, затем двуличного вождя - с освобожденным народом. Но именно такое сведение многосложных событий к абстрактной схеме позволяло Радищеву свободно перекидывать мостик от Новой Англии к Древнему Риму, выводить из однотипных, как ему казалось, явлений некую общую закономерность: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство.....»<sup>23</sup>

Не будем пока углубляться в смысл этого «закона», акцентируем внимание на другом. Зная концепцию оды, легко подобрать ключ к поэме. Если отвлечься от легендарных мотивов ее запева, то первая часть поэмы - 1000 с лишним строк - тематически вполне укладывается в четыре «античные» строфы оды. Описание подвигов вереницы «мужей дивных» - сначала в Элладе, затем в Риме - иллюстрирует простую мысль: их величие неотделимо от «свободы», гражданские добродетели расцветали там, где закон утверждался «на подножии незыбком простоты и бескорыстья...». Но здесь и там богатство и власть породили «страсти бурны», которые одолели добродетель, «свобода» обратилась в «наглость». В поэме увеличивается лишь число примеров: среди душителей «свободы» фигурируют теперь не только Марий, Сулла, Август, но и Филипп Македонский, Помпей, Цезарь, Октавиан<sup>24</sup>.

Однако назвать «Песнь историческую» развернутой иллюстрацией к «античным» строфам «Вольности» никак нельзя. В этом убеждают заключительные 500 строк поэмы. Оду писал в 80-е годы убежденный революционер, перед восторженным взором которого стояли недавние победы свободолюбивой рати Вашингтона. Рассказ о событиях в Древнем Риме или в Новой Англии звучал в общем контексте оды лишь предупреждением об опасностях революционного пути; на этом рассказе не было и тени пессимизма. Напротив, настроения пессимизма окрашивают «Песнь историческую». Как показывают строки, следующие за сравнением Робеспьера с Суллой, Радищев здесь не только осуждает все и всяческие гражданские междоусобия, но и предпочитает им «мир неволи»:

*Ах, во дни сии ужасны,  
Где отец сыновней крови,  
Где сыны отцовою жадут,  
Господу где раб предатель,  
Средь разврата нагла нравов  
Может разве самодержец,  
Властию венчан всемогущей,  
Дать устройство, мир - неволи -  
Пусть неволи, но отдохнет  
Человечество от тяжких ран»<sup>25</sup>*

Как же мыслится этот «отдых»? Ведь за картинами кровавых гражданских междоусобий в поэме следуют картины не менее кровавых царствований цезарей. Луч света в зловещем царстве тиранов пробивается ближе к финалу поэмы, когда на троне, «омытом кровью» соперников-полководцев, появляется первый «добродетельный» царь Веспасиан, а за ним следует целая вереница столь же «добродетельных» «просвещенных монархов» - Тит, Нерва, Траян, Антонин, наконец, «отец» римлян Марк Аврелий<sup>26</sup>. Заметим, что в оде «Вольность» возможность появления «бесстрастных» царей решительно отвергалась.

А вот и мораль описаний «просвещенных монархов» древности:

*О, властители вселенной,  
О, Цари, Цари правдивы!  
Власть, вам данная от Неба,  
Есть отрада миллионов,  
Коль вы правите народом,  
Как отцы своим семейством.  
Но Калигулы, Нероны,  
Люты варвары и гнусны,  
Суть бичи Небес во гнев,  
И их память пренесется  
В дальни веки для проклятий  
И для ужаса народам!»<sup>27</sup>*

Но Радищев вовсе не возлагает все надежды на «мудрых», «правдивых», «добрых» царей, ибо радикально они ничего не меняли в «погибшем царстве», более того, «упадение» грозит вроде бы всякой абсолютной власти вообще; да и тот же премудрый Марк Аврелий «смертной был». Напоминая о его кончине, Радищев призывает оставить все «благие помышленья о блаженстве рода смертных»<sup>28</sup>.

Характерно, что в одинаково пессимистическом духе толкуются теперь Радищевым как античные примеры «просвещенного абсолютизма», так и античные примеры революционной борьбы. Прославляется Брут, положивший «угольный камень Зданью Римский свободы». Но последователи Брута не предотвратили падения этого «Зданья», даже умерщвляя тиранов: «Тиран мертв, но где свобода?»<sup>28а</sup>

Возродить в «превратном Риме» прежние добродетельные нравы и равенство не смогли и старанья братьев Гракхов:

*Пали жертвы вы, достойны  
Упадающей свободы*<sup>29</sup>.

Мысль автора «Песни исторической» находится в тупике: революционных путей утверждения и сохранения «вольности» он не видит, особой веры в «царей правдивых» у него также нет. И все-таки какой-то выход из тупика обозначился в его «Осмнадцатом столетии»...

Вот сюжет этого предсмертного стихотворения Радищева.

Века бесследно утекли в бездонное и безбрежное море вечности. Но XVIII век - столетие «безумно и мудро» - будет незабвенным. Здесь, почти достигнув пристани, попал в страшный водоворот корабль, несущий человеку надежду:

*Счастье и добродетель, и вольность пожрал омут ярой,  
; Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.*  
Трагический мотив усиливается: кровь, кровь и кровь - вот что оставило людям на память «проклятое» столетие...  
*Но хотя корабль разбит, надежда осталась - в океане крови есть кусок твердой земли:  
Но зри, две вознеслись скалы во среде струй кровавых:  
; Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.*

Мрачная мелодия сменяется радостным гимном. Поэт вспоминает о славном завещании ушедшего века - его бессмертных идеалах. Перед читателем разворачивается величественная картина прогресса человеческого разума. В «осмнадцатом столетии» человек приподнял «завесу творенья», постыдил тайны природы, проник в недра земли и вознесся на небеса. Это столетие заключило в ярем «летучи пары», приосмыслило молнию, дало смертным «воздушные крылья», сокрушило «железные двери» призраков, свергло «идолов», разорвало тягившие дух оковы, открыло путь к «истинам новым»:

*Мощно, велико ты было, столетие! Сух чеконь прежних  
; Пал пред твоим олтарем ниц и безмолвен, дивясь...*  
Внезапно ликующие звуки гимна разуму обрываются. Повторяется знакомый трагический мотив. Поэт вспоминает: сил века «недостало к изгнанию всех духов ада...». Мирные долины превращены в поля брани, зловецкие спутники войны - зверство, буйства, голод - угрожают человеку:  
*Иль невозвратен навек мир, дающей блаженство народам  
; Или погрязнет еще, ах, человечество глубже? -  
Но нет, надежда не должна покидать смертного. Снова - торжественным финалом - звучит хвала российскому престолу, твердой скале, отражающей свет грядущего дня:  
Выше и выше лети ко солнцу, орел ты Российской,  
; Свет ты на землю снеси, молнии смертельны оставь*<sup>30</sup>.

Как видим, «Осмнадцатое столетие» подтверждает тот поворот движения мысли Радищева, который наметился в «Песне исторической».

Уточним, однако, весьма существенное обстоятельство: и «Песнь историческая», и «Осмнадцатое столетие», и законодательные документы, подготовленные Радищевым для Комиссии по составлению законов царя Александра I в 1801-1802 годах, свидетельствуют, что *свободолюбивый идеал Радищева не изменился, другим стало лишь представление о путях и средствах его осуществления*. Но как раз эта «небольшая» перемена вела мыслителя в безысходный тупик. Надежд на проведение несбывшихся идеалов «века разума» русскими царями не было никаких.

Тот факт, что Радищев так и не опубликовал «Осмнадцатое столетие», очевидно, не был случайным. Писатель слишком долго боролся с лицемерием «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, чтобы поверить в «просвещенный абсолютизм» Александра I. В той же «Песне исторической» он писал:

*Вождь падет, лицо сменится,  
Но ярем, ярем пребудет.  
И, как будто бы в насмешку  
Роду смертных, тиран новой  
Будет благ и будет кроток:  
Но надолго ль, - на мгновенье»  
А потом он усугубя  
Ярость лютости и злобы,  
Он изрыгнет ад всем в души*<sup>31</sup>.

Неизбежный конфликт с властью имущими назрел к середине 1802 года, когда амнистированный Радищев услышал угрожающее напоминание: «Сибирь». Это дало возможность лишний раз убедиться в тщетности преобразовательных замыслов с помощью «просвещенного абсолютизма». Однако подняться до уровня иных теоретических представлений, указывающих выход из тупика, Радищев не смог.

Оставался один исход - уйти из жизни так, как уходили когда-то древние римские герои, как пытались уйти во Франции конца XVIII века Жак Ру и Грахх Бабёф. 11 сентября 1802 года писатель кончает жизнь самоубийством<sup>31а</sup>.

### 3. Крах «царства разума»

Личная трагедия Радищева в конце XVIII-начале XIX века была всего лишь одним из эпизодов трагедии куда более грандиозного масштаба, постигшей на закате «осмнадцатого столетия» всю европейскую радикально-просветительскую мысль.

XVIII век был не только веком взлета революционной идеологии, он был веком *проверки идей* в бурных классовых битвах. И революционная теория той поры не выдержала такой проверки. *Эта теория была еще слишком проста, примитивна, а революция оказалась гигантски сложным делом.*

Превращению социализма из утопии в науку, подчеркивал Ф.Энгельс, предшествовало страшное потрясение, которое испытало Просвещение XVIII века. «Государство разума» воплотилось в якобинском терроре, от которого перепуганная буржуазия спасалась сначала в подкупности Директории, затем под крылом наполеоновской деспотии; «разумный строй» оказался строем крайних антагонизмов, неслыханного угнетения, непрекращающихся схваток пролетария и буржуа; реальные общественные и политические учреждения, созданные революцией, - «злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей»<sup>32</sup>.

Известно, что любая общественная теория, а тем более теория, еще не ставшая в полном смысле этого слова наукой (как было с Просвещением XVIII века), *неполно* отражает все многообразие явлений общественной жизни. Несоответствие теории и практики выявляется наиболее отчетливо в эпоху революций, когда наступает пора претворения идеалов и лозунгов в жизнь, когда сразу же, скачком, в громадном объеме расширяются масштабы и формы человеческой общественной деятельности, к которой подключаются новые классы и слои. В такой ситуации относительная неполнота той или иной теории обнаруживается сравнительно быстро - за немногие годы, а то и месяцы, причем процесс этот идет болезненно, в катастрофически резких формах, порождая то головокружительные скачки вперед, то отлеты назад, разного рода драмы и коллизии.

«Терроризм» 1794 года, завершивший начатую во имя гуманизма революцию 1789 года, был до боли разительным обнаружением такого несоответствия. Именно это несоответствие отразила радищевская параллель «Сулла - Робеспьер». Писатель недаром наделил своих героев любопытным качеством, в котором сочеталось, казалось бы, несочетаемое:

*Но то истина, что может  
Во душе, к люблению нежной,  
При вождении рассудка,  
Привитать и люто зверство*<sup>33</sup>.

То, что так и осталось «истиной негостижимой» для русского мыслителя, пробилось в сознание одного из вождей якобинской Франции. «Сила вещей ведет нас, по-видимому, к результатам, которые не приходили нам в голову»<sup>34</sup>, - признавался Сен-Жюст. В этом прозрении - ключ к трагедии «века разума».

Действительно, громадное большинство «патриотов», вовлеченных в 1789 году в водоворот политической борьбы, не являлись ни сторонниками насилия, ни почитателями террора, их лозунгом была «всеобщая свобода», свобода, не знавшая исключений даже для свергнутых врагов. Просвещение воспитало будущих вождей революции в духе человеколюбия, укрепило их в мысли, что камни тюрем, созданных «деспотизмом», не могут идти на закладку «храма свободы».

Из радикальных публицистов первых лет революции лишь немногие признавали необходимость революционного террора. К числу их принадлежал (парадокс истории!) тот самый Демулен, который в год II столь желанной им республики станет ярким обличителем режима всеобщей подозрительности и якобинского терроризма. Осенью 1789 года он выпустил знаменитое «Обращение фонарного столба к парижанам», где объявлял подозрительность «матерью безопасности», призывая французов учиться бдительности все у того же Древнего Рима: «Римские гуси хорошо сделали, закричав ночью. Ныне мы в сумерках, и хорошо, что верные псы брешут даже на прохожих, - зато не надо бояться воров»<sup>35</sup>. В том же направлении мыслил и Марат, выдвинувший в начале 1790 года в своем «Призыве к нации» лозунг революционной диктатуры и превентивного террора.

Но если «Обращение» Демулена и «Призыв» Марата не встретили в первые годы революции особого сочувствия в стане «свободы», то, напротив, вожди роялистов сразу взяли курс на вооруженную расправу с революционерами, с взбунтовавшейся «чернью».

В начале революции «низы» Франции куда реалистичнее и решительнее большинства радикальных идеологов реагируют на эту угрозу. Стихийное чутье народа, столетиями копившего ненависть к угнетателям, оказывается в большей степени на уровне задач революции, чем воспитанный в общегуманистических традициях просветительский разум.

Попыткам, с одной стороны, аристократов, а с другой - народных масс силой решать великие политические и социальные проблемы революции буржуазные конституционалисты в Учредительном собрании противопоставляют «средний» путь компромисса, путь законодательных классовых сделок, также не исключавший применения силы ради сохранения «порядка» и «закона». Последнее убедительно доказали как расстрел патриотически настроенных солдат-мятежников в Нанси (август 1790 г.), так и разгром роялистских сборищ в Жалесе (февраль 1791 г.).

К осени 1791 года «либеральный» цикл революции был близок к завершению. Стоящие у власти буржуазные круги, несмотря на все признаки измены короля, идут на сделку с недобитой монархией. Расстреляв 17 июля 1791 года республиканских петиционеров на Марсовом поле, они проявляют полную готовность взять на себя функции абсолютистского государства по обузданию «анархии» масс. И если через какой-нибудь год - полтора конституционно-монархическая Франция стала республикой, а король оказался на плахе, то главной причиной тому была незавершенность начатого революцией преобразовательного процесса, нерешенность коренных, прежде всего социальных, проблем.

В конце «фатального» 1791 года Франция являла собой отчетливую картину расстановки действовавших в ней социальных сил. На одном полюсе - растущее возмущение «низов», которым, новоявленные «отцы отечества» обещали, но так и не дали «свободу» (три из семи миллионов «свободных и равных и своих правах» граждан отстранены от участия в политической жизни; феодальный порядок, «окончательно упраздненный» в августе 1789 года, продолжает существовать применительно к той части сеньориальных повинностей, которые крестьянам предстоит выкупать в дальнейшем; начавшийся финансовый кризис бьет по неимущим). На другом полюсе - активное сопротивление феодальной аристократии, у которой отняли верховную политическую власть и многие сословные привилегии, но не отняли надежду вернуть их силой обратно (в руках аристократов оставались основные командные должности в армии, важные рычаги исполнительной власти, неприсягнувшие священники продолжали вести за собой отсталые массы крестьян). В центре, в качестве «стабилизирующей силы», - стремление имущих буржуазных слоев удержать уже добытое (политическую власть, пущенные в распродажу церковные земли, свободу от государственного вмешательства в дела промышленности, земледелия и торговли и т. п.).

Что же касается инициативы в развязывании гражданской войны, то она шла справа. Королевская партия делала в 1791-1792 годах все (организация интервенции, мятежей, министерские интриги, лицемерная поддержка внешнеполитических авантур крупной буржуазии), чтобы поставить насилие в повестку дня. И она дождалась ответного революционного насилия.

Война, объявленная «свободной» Францией «тиранам» Европы, ускорила развязывание внутривнутриполитической борьбы, придав ей, особенно после свержения монархии, предельно жестокие формы. Первым проявлением народного терроризма была знаменитая сентябрьская «чистка тюрем» в Париже (1792 г.), стоившая жизни более 1000 заключенным, - не только неприсягнувшим священникам и некоторым крупным аристократам, но и массе уголовников, воров, фальшивомонетчиков. Даже наиболее радикально настроенные революционеры не принимают крайностей этого избиения, во время которого, как писал Марат, топор поражал «без различия всех виновных, смешивая мелких преступников с крупными злодеями...»<sup>36</sup>. И все же подлинные революционеры той эпохи понимали спасительную роль этой меры, на которую толкнуло народ - в условиях угрозы Парижу со стороны интервентов, нерешительности правительства - чувство самосохранения. «Этот акт правосудия оказался неизбежным, чтобы сдержать путем террора легионы предателей, скрывающихся в стенах Парижа, в тот момент, когда народ уходил на врага, - гласил циркуляр, подписанный Дантоном. - Мы не сомневаемся, что вся нация после стольких измен, приведших ее на край гибели, поспешит применить это необходимое средство общественного спасения...»<sup>37</sup> Марат, смотревший гораздо дальше Дантона, готовился к смертельной борьбе не только с внешним врагом революции, но и с ее врагами, «заседающими в сенате»: «...если когда-нибудь они пойдут по правительственному пути, то только под давлением страха народной расправы, только поддерживаемые террором»<sup>38</sup>.

Национальный кризис весны - лета 1793 года побуждает взявших бразды правления якобинцев решительно опереться на неимущие плебейские массы. А это означало одновременно взять на себя заботу об их существовании, что было немислимо без ущемления интересов имущих слоев.

На этот шаг обновленный Комитет общественного спасения пошел не без колебаний, лишь после неуспешных попыток путем разного рода полумер и декларативных декретов избежать крайностей, на которые его толкали вожди народных низов. К концу лета правительство Робеспьера уступает напору парижских масс. **23 августа декретируется создание всеобщего ополчения, 5 сентября - арест подозрительных и чистка революционных комитетов, призванных осуществлять эти меры, создание революционной армии для осуществления реквизиций и борьбы с контрреволюцией, 29 сентября - всеобщий максимум (закон о государственном нормировании цен).**

Во второй половине 1793 года тысячи комитетов и клубов в центре и на местах, в контакте с комиссарами Конвента или самочинно, опираясь на силу парижской и провинциальных революционных армий и ополчения, практикуют самые разнообразные принудительные меры, обеспечивая массовую мобилизацию, реквизиции, надзор за соблюдением продовольственных декретов, за благонадежностью всех граждан, контроль над прессой и театрами, аресты врагов республики и превентивные аресты «подозрительных» лиц.

На контрреволюционные мятежи, истребление якобинцев в Лионе, на зверства белых банд в Вандее республика отвечает спасительным (хотя и не свободным от эксцессов) беспощадным террором<sup>39</sup>.

Как подчеркивая французский историк-марксист, специалист по истории Французской революции А.Собуль, «в департаментах применение террора зависело от угрозы мятежа и характера представителей в миссии (командированных в провинции депутатов Конвента.- Е. П.)... В Нанте представитель в миссии Каррье ввел процедуру казни без суда: заключенных сбрасывали и Луару; в декабре-январе таким образом погибло от 2 до 3 тыс. человек - неприягнувшие священники, подозрительные, *разбойники* и осужденные за уголовные преступления. В Бордо репрессиями руководил Тальен, в Провансе - Баррас и Фрерон, по приказу которых были проведены массовые казни. Террор в Лионе соответствовал той опасности, какой подверг Республику мятеж в этом городе... 12 октября по докладу Барера Конвент принял решение о разрушении города... Если Кутон удовольствовался приказом о разрушении нескольких зданий на площади Белькур, Колло д'Эрбуа и Фуше, прибывшие сюда 7 ноября, провели репрессии и широком масштабе; революционная комиссия, вынесшая 1667 смертных приговоров, заняла место Комиссии народного правосудия, которую сочли чрезмерно снисходительной; расстрелы из ружей и картечью дополнили чересчур медленную работу гильотины»<sup>40</sup>.

Все это, впрочем, не удивительно. К 1793 году происходит резкий сдвиг во взглядах на насилие вообще, на террор в частности и в сознании радикальных вождей революции. Дело не только в том, что «крайние» воззрения Демулена или Марата стали господствующими среди якобинцев. Растущая угроза контрреволюции все шире раздвигает не только в жизни, но и в умах революционеров границы применения террористических мер. Хронологически разделенные высказывания Марата хорошо иллюстрируют эту зависимость.

*Начало 1790 года* («Призыв к нации»). «Несколько своевременно отрубленных голов надолго сдержит врагов общества и на целые столетия избавит великую нацию от бедствий нищеты и ужасов гражданских войн».

*Июль 1790 года*. «Пятьсот - шестьсот отрубленных голов обеспечили бы вам покой, свободу и счастье, фальшивая гуманность удержала паши руки и помешала вам нанести удар...»

*Декабрь 1790 года*. «...Возможно, потребуется отрубить пять-шесть тысяч голов; но, если бы даже пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной минуты».

*Сентябрь 1792 года - март 1793 года*. «...Ваши несчастья не кончатся, пока народ не истребит до одного всех приспешников деспотизма, всех представителей прежних привилегированных сословий... Это доказал пример голландцев, швейцарцев, англичан и американцев. В гражданских войнах, которые они вели с приспешниками деспотизма, не жалели крови, было убито больше миллиона двухсот тысяч человек»<sup>41</sup>. [*Т.Солтановская. Ж.-П.Марат и «бешеные» весной 1793 г., П.Гениффе. Марат - идеолог Террора, Ж.-П.Марат. Проект декларации прав человека с последующим проектом справедливой, мудрой и свободной конституции, Е.Тарле. Жан-Поль Марат, Друг народа*]

Марат был убит роялисткой\* *Корде* в середине 1793 года. А месяца три-четыре спустя Сен-Жюст бросил знаменитый клич: «Свобода должна победить какой угодно ценой». Он потребовал кары уже не только для всех приспешников старого порядка, но и для всех равнодушных<sup>42</sup>.

Но буквально в те же самые месяцы обозначается и противоположная тенденция - к отрицанию всякого насилия вообще, причем носителями и этой тенденции оказываются самые радикальные и решительные до того революционеры.

*Эволюция редактора «Публициста Французской республики» Жака Ру дает тому наглядный пример*. В конце июля, приступая к изданию газеты, Ру объявляет себя продолжателем убитого Марата, он самым решительным образом защищает его идеи. Но уже через месяц-другой тот же Ру занимает позицию, полностью противоположную исходной. Вот несколько выдержек из «Публициста Французской республики», разделенных уже не годами и месяцами, как высказывания Марата, а неделями и даже днями.

*27 июля 1793 года* (№ 248 «Публициста»). «Враги революции не станут ее друзьями... Есть только одно средство укрепить свершившуюся революцию - это сокрушить предателей бичом войны, это заклеить каленым железом бесчестья лбы роялистов, заставить сверкать меч законов над головами виновных... Не слушайте никаких призывов к соглашательству. Если подлецы, предавшие отчизну, искренне раскаялись, - прекрасно, пусть поднимаясь на эшафот, они кричат: да здравствует республика!»

*14 августа 1793 года* (№ 256 «Публициста»). «Доброта французов увеличила ряды врагов общего дела и придала дерзость заговорщикам. Нас погубила слишком большая терпимость». Но тут же: «Свобода будет быстро уничтожена, если одни гражданин присвоит себе право бросать другого в тюрьму, если Комитет объединит в одних руках все полномочия... История учит нас, что сенаторы Рима не замедлили поработить народ, как только тот отказался от своих гражданских прав».

*24 августа 1793 года* (№ 260 «Публициста»), «Скажу прямо: существует система угнетения, соединившегося с вероломством. Те, кто опрокинул трон тирана, в этот момент чинят обиды патриотам».

*Середина сентября 1793 года* (№ 265 «Публициста») <sup>43</sup>. «Самые решительные меры вырождаются в злоупотребления... Чтобы заполнить пропасть, которая разверзлась у наших ног, нам следует встать выше людских слабостей, заниматься скорее вещами, чем людьми, и осуществить революцию, приятную мягкостью правления». И там же: «Лживые апостолы свободы, вооружая отца против сына, нацию против нации, всех перессоривая, все опрокидывая, все заливая кровью, превращая Францию в сплошную Бастилию, наша революция не завоеует мир. Если над внешними врагами торжествуют силой оружия... то на тропу истины заблудшие души возвращают только милосердием, внимательностью, приветливостью законов и добродетельностью практики, вызывая слезы признательности».

Тенденция к безудержному применению мелкобуржуазными революционерами насилия имела, как мы пытались показать, объективную основу - диктовалась обстоятельствами гражданской войны. То же самое можно сказать и о второй тенденции - к отказу от всякого насилия. Дело в том, что, создавая механизм революционного террора, республиканское правительство с самого начала использовало его и для решения противоречий внутри революционного лагеря, против соперничавших республиканских групп. Эта тенденция отчетливо выявилась еще в августе - сентябре 1793 года, когда началось возмущение парижских низов, возглавленных «бешеными». Реакция правительства, во главе которого к этому времени стал Робеспьер, была продиктована необходимостью удержать в своих руках власть, направив вместе с тем революционную энергию народа против мятежников - жирондистов, вандейцев - и внешнего врага. Правительство брало на себя выполнение программы, которая выдвигалась идеологами плебейских масс, и, приняв ее, немедленно перешло к арестам и ликвидации плебейских вождей, к преследованию массовых организаций, которые оказывали им поддержку. Важнейшим средством осуществления и оправдания этой расправы оказалось то самое террористическое законодательство, которого с таким упорством добивались сами «бешеные». Весной 1794 года этот же прием Робеспьер и Сен-Жюст повторно применяют к наследникам «бешеных» - эбертистам. Они снова возьмут на себя выполнение их требований (конфискация имущества врагов и распределение его между неимущими) и снова отправят на эшафот ревнителей этих и тому подобных мер (Эбера, Шометта, Венсана).

Но поскольку мелкобуржуазное правительство - частично по своей воле, частично против своей воли - принимало на себя осуществление плебейской, по сути дела антибуржуазной, программы, постольку в оппозицию к нему становились имущие слои, интересы которых затрагивала система принудительных мер. Одобрив расправу с плебейскими вождями, заключая ради этой цели с робеспьеристами временные союзы, идеологи «новой буржуазии» - Дантон, Филиппе, Демулен - в свою очередь начинают смертельную борьбу против Робеспьера и Сен-Жюста. Отправка на гильотину «снисходительных» стала для правительства Робеспьера такой же неизбежностью, какой была ранее отправка туда их антиподов - «бешеных» или эбертистов.

Как только машина террора обращалась («слева» или «справа») против тех или иных участвовавших в революции социальных слоев, их идеологи и руководители немедленно из самых страстных поклонников насилия (а таковыми были и Ру и Демулен) становились его самыми непримиримыми врагами, сходясь, несмотря на противоположность своих классовых устремлений, на общей платформе «антитерроризма».

Все это говорит о том, что итоговая позиция людей, олицетворявших в 1793-1794 годах противостоящие тенденции (Робеспьера, с одной стороны, Ру и Демулена - с другой), определялась не их заранее сложившимися идейными установками, а силой обстоятельств. Более того, эта сила заставляла их, по существу, изменять своим прежним взглядам. В отношении Ру и Демулена дальнейших доказательств в этом смысле как будто не требуется. Но, пожалуй, стоит привести их в отношении Робеспьера: мы как-то не всегда сознаем, что фактическим главой диктаторского террористического правительства стал человек, бывший с первых дней революции ярким врагом кровопролития и «диктаторской» власти. В самом деле, одному и тому же Робеспьеру принадлежат следующие суждения.

#### *Робеспьер о роли правительства в эпоху кризиса*

*Декабрь 1791 года:* «Во время войны исполнительная власть развивает самую страшную энергию и осуществляет своего рода диктатуру, которая не может не утратить рождающуюся свободу...»<sup>44</sup>

*Декабрь 1793 года - февраль 1794 года:* «Революционному правительству нужно употреблять чрезвычайную активность именно потому, что оно ведет войну... Революционное правление - это деспотизм свободы против тирании»<sup>45</sup>.

#### *Робеспьер о роли конституции*

*Май 1792 года:* «Среди бурь, вызванных наличием множества кликов, которым дали время и средства укрепиться, среди внутренних раздоров, вероломно комбинируемых с внешней войной... добрым гражданам нужна какая-то точка опоры, какой-то сигнал сбора; в этом смысле нет ничего лучше конституции»<sup>46</sup>.

*Декабрь 1793 года:* «Конституционный корабль был построен вовсе не для того, чтобы остаться постоянно в верфи; но следует ли бросить его в море по время бури и навстречу противному ветру... Французский народ повелел вам ждать, когда море успокоится; он выразил единодушное желание, чтобы вы, послужив на звали аристократии и сторонников федерализма, сначала освободили бы его от врагов»<sup>47</sup>.

#### *Робеспьер о контроле над властью*

*Апрель-май 1792 года:* «...Свобода разоблачений является, во все времена, гарантией для народа, это священное право каждого гражданина... Какими же деспотами были бы те, кто, будучи хранителями великих интересов нации... притязали бы еще на привилегию, изымающую их из сферы компетенции суда общественного мнения?»<sup>48</sup>

*Февраль 1794 года:* «Если существуют представительные органы, первичная власть, установленная народом, она должна непрестанно следить за всеми общественными служащими и обуздывать их. Но кто обуздывает ее, если не ее собственная добродетель?»<sup>49</sup>

### *Робеспьер о народных обществах (секций Парижа)*

*Февраль 1792 года* «Во время кризиса, когда каждый день кажется чреватым преступлениями и заговорами завтрашнего дня, только постоянная бдительность секций может спасти общественное дело... Национальное собрание должно поспешить разрешить им, даже пригласить их, собираться без ограничений, так же, как это было в прекрасные дни революции; это является условием обеспечения государственной безопасности...»<sup>50</sup>

### *Робеспьер о свободе мысли и слова*

*Май 1791 года - апрель 1792 года* «...Каждый человек вправе объявлять свои мысли любым способом... Неужели вы постановите о том, что люди не смогут давать волю своим мнениям, если они не добились пропускного свидетельства от полицейского чиновника, или о том, что они будут думать лишь с одобрения цензора и по разрешению правительства?»<sup>52</sup> «...Не бойтесь столкновения мнений и бурь политических дискуссий, это лишь муки рождения свободы»<sup>53</sup>.

### *Робеспьер о смертной казни*

*Май 1791* «...Закон о смертной казни является пагубным... он нелеп... он несправедлив в самом своем существе... Законодатель, предпочитающий смертную казнь более умеренным наказаниям... ослабляет энергию правительства, стремясь расширить его власть применением слишком большой силы... Остерегайтесь смешения эффективности наказаний с эксцессами строгости: они абсолютно противоречат друг другу»<sup>55</sup>.

*Декабрь 1793 года* «Мнимые народные общества, бесконечно расплодившиеся после 31 мая, - это ублюдочные общества, не заслуживающие этого святого имени... Это общество (секции инвалидов.- Е. П.) должно отныне исчезнуть; дело Национального правительства уничтожить его, и общество якобинцев должно отказать ему в поддержке... Разве это народ расколот на множество обществ, которые постарались создать агенты иностранных держав?.. Нет, там не народ, там Австрия, там Пруссия»<sup>51</sup>.

*Март 1793 года - июнь 1794 года* «Следует, чтобы этот трибунал наказывал все сочинения... (ропот в части зала). Странно, что в зале раздастся ропот, когда я предлагаю пресечь издание публичных сочинений, направленных против свободы, наседающих принципы суверенитета и равенства... Всюду, где устанавливается демаркационная линия, всюду, где проявляется разногласие, там есть нечто, враждебное благу отечества»<sup>54</sup>.

*Август 1793 года - февраль 1794 года* «С вершины Горы я бы дал породе сигнал и сказал бы ему: *Вот твои враги, бей!*.. Недопустимо, чтобы Трибунал, учрежденный для движения революции вперед, своей преступной медлительностью заставлял ее двигаться назад... Этому Трибуналу подсудно преступление одного лишь рода - государственная измена, - и... за нее есть одно наказание - смерть... Террор - это не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость...»<sup>56</sup>

Разумеется, приведенные здесь отдельные высказывания не передают всей сложности воззрения Робеспьера, как находящегося в оппозиции, так и находящегося у власти. Но их сопоставление наглядно обозначает одно из направлений катастрофической деформации идеологии Просвещения при ее столкновении с действительностью классовой борьбы. Этот резкий сдвиг в позиции Робеспьера был воспринят другими республиканцами как измена делу «свободы». Не случайно разошедшийся с якобинским правительством Бабёф предлагал в 1794 году различать в вожде якобинцев «двух человек, а именно: Робеспьера - искреннего патриота, верного принципам до начала 1793 г., и Робеспьера - честолюбца, тирана и величайшего негодяя, каким он стал после этого»<sup>57</sup>. [*М.Робеспьер. Избранные выступления, речи письма, О смертной казни (речь 30 мая 1791 г.), Р.Роллан. Из переписки (о Французской революции и Робеспьере)*]

«Террористы» и «диктаторы» Марат, Сен-Жюст, Робеспьер и «антитеррористы», враги «диктатуры» Ру, Пейн, Демулен, Кондорсе выразили в республиканской Франции 1793-1794 годов *два полярных взгляда на революционное насилие, на принципы революционной власти*. Мы не будем обвинять ту или другую сторону в «измене», как это делали сами соперники - участники тех событий, или именовать одну точку зрения верной, другую - ошибочной, как это делают некоторые исследователи. Не будем мы и искать истину где-то посредине разных взглядов... Вспомним мудрые слова Гёте: «Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никким образом! Между ними лежит проблема...»<sup>58</sup>

Эту проблему начали нащупывать и распутывать уже сами участники и современники Французской революции.

#### 4. Диалектика «деспотизма свободы»

Вернемся к формуле Радищева: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство». Казалось бы, его открытие принадлежит целиком области тех ограниченных представлений, которые были присущи Просвещению XVIII века. И все же эта абстрактно-натуралистическая формула заключала вполне конкретное содержание: она была обобщением событий Английской революции XVII века, с удивительной законсообразностью повторенных революционной Францией XVIII века. И здесь гражданская война завершилась победой «свободы»: казнью короля, разгромом врагов революции. И здесь сконцентрированная в руках революционного правительства власть оказалась в конце концов узурпированной Бонапартом.

Среди причин, определявших подобное превращение, Радищев выделял еще в 80-е годы «несытную власть алчбу». Римское или, скажем, «христианское общество» шло «стеязею народам обыкновенною»: сначала оно «воздвигло начальника», затем «расширило его власть», затем «всесильный» царь или папа губили «свободу»<sup>59</sup>. Радищевская концепция - совершенно в духе XVIII века, когда, как писал К. Маркс, историки еще не спустились с поверхности политических форм в недра социальной жизни<sup>60</sup>. Примерно такое же объяснение «падения» Римской республики мы видели у Монтескье, аналогичный подход к прошлому человечества найдем у Робеспьера. В 1789 году он говорил о почти безнадежной борьбе «свободы» народа «против власти королей»<sup>61</sup>.

Куда своеобразнее Радищев в своих попытках истолковать под углом зрения круговорота «свободы» и «рабства» революционные события своей эпохи. На первый взгляд его мысль следует в общем русле представлений XVIII века. Отдельные наметки теории круговорота «свободы» и «рабства» можно обнаружить у Дидро или у Рейналя<sup>62</sup>. У Гельвеция и Руссо, Марата и Робеспьера имя Кромвеля фигурирует рядом с именами Мария, Цезаря. Нечто подобное радищевскому «закону природы» сквозит в строфах гётевского «Фауста», где Мефистофель говорит Гомункулу:

*Оставь! Ни слова о веках борьбы!*

*Противны мне тираны и рабы.*

*Чуть жизнь переиначат по-другому,*

*Как снова начинают спор знакомый!*

*И никому не видно, что людей*

*Морочит тайно демон Асмодей.*

*Как будто бредят все освобожденьем,*

*А вечный спор их, говоря точней, -*

*Порабощенья спор с порабощевьем*<sup>63</sup>.

Пожалуй, однако, ни у одного мыслителя XVIII века «великий пример» Кромвеля не приобрел такого обобщенного «социологического» звучания, как у Радищева. Еще в 80-е годы этот пример позволил мыслителю подвести под понятие общего круговорота «свободы» и «рабства» все революции нового времени. К концу 90-х годов концепция Радищева приняла резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель был за революционное завоевание вольности, теперь он считает безнадежным исход кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением диктатуры, гражданские войны в этом отношении ничем не отличаются от всякого рода завоевательных походов и войн! В определенной мере позиция Радищева аналогична позиции, запятой Ру в сентябре 1793 года, когда тот вернул вождю якобинской диктатуры его собственные, ранее сказанные слова: «Тирания не спасает государство и свободу».

Практика всех без исключения глубинных социальных революций подтверждает: ломка старого строя невозможна без предельной концентрации революционной власти, без отбрасывания в условиях жесточайшей гражданской войны формально-юридических норм, без решительного подавления контрреволюционеров. Неизбежности этой явно не понял русский мыслитель. В этом смысле взгляды Радищева в сравнении со взглядами Робеспьера или Сен-Жюста непоследовательны, ограничены. В то же время видеть в концепции Радищева одну только «ошибочность» и «непоследовательность» - значит до крайности упрощать проблему.

Суммируя государственный опыт якобинизма, можно утверждать: к «диктаторской» политике толкали якобинцев обстоятельства гражданской войны, которые с роковой неотвратимостью требовали от республики концентрации всех материальных средств, объединения всех нитей политического управления в одних руках. Гражданская война в огромной степени усилила в системе якобинского государства роль армии, карательных органов вообще.

Но война с роялистской контрреволюцией - одна сторона медали. Победу над роялистами вожди якобинской диктатуры ковали в условиях растущих противоречий между плебейскими массами и буржуазными слоями в республиканском стане. Хотя в критические моменты своего существования, когда спасение революции зависело целиком от настроений «низов», революционное правительство шло навстречу их требованиям, но в общем и целом оно оказалось неспособным полностью эти требования поддержать, вступило на путь ликвидации вождей не только правых, но и левых направлений, на путь преследования тех органов прямого народоправства, которые были под их контролем. Расправа с народными обществами секций Парижа - тому пример.

«Тартюфы! - восклицал Жак Ру, обличая правительство мелкобуржуазных революционеров. - Они пользовались Леклерками, Варле, Жаками Ру, Бурженами, Гансионками и т.п. и т.п. Они пользовались женщинами-революционерками, такими, как Лякомб, Коломб, Шампион, Ардуан, и столькими другими республиканцами, чтобы разбить скипетр тиранов, под которым они томились, чтобы свергнуть фракцию государственных людей, жаждавших утвердить деспотизм. А сегодня, когда в их руках ключи национального казначейства, когда они распоряжаются главными гражданскими и военными ведомствами, имеют слуг, выполняющих их приказы, сегодня, когда в их руках жезл Республики, когда они упились кровью людей и вооружились громом и молнией всей нации, они обрушили их на неподкупных патриотов, которые не желают рабски преклоняться перед новыми королями: они топчут ногами, они бьют, как стекло, драгоценные вазы - инструменты революции» (№ 268 «Публициста»).

И Ру был прав. Историки самых разных направлений с разной степенью глубины отражают один и тот же факт. Противоречивость социальной основы якобинской диктатуры, политические формы, которые складывались в годы кризиса буржуазной революции, теоретический уровень, который определял представления якобинцев, - все это обусловило то, что они так и не смогли разрешить *одно из главных противоречий глубинной социальной революции, приведшей в движение массы, - противоречие между демократией и централизацией*. Они не смогли, хотя и пытались, обеспечить вовлечение плебейских масс в управление революционным государством или по крайней мере их систематическое воздействие на это управление. В конце концов «народные организации и демократия санкюлотов оказались несовместимыми с Революционным правительством и якобинской диктатурой»<sup>64</sup>.

##### 5. Спор между «террористами» и «антитеррористами»

«Революция - это война свободы против ее врагов, - говорил Робеспьер, защищая в конце 1793 года революционные законы. - ...Те, кто называют эти законы произвольными или тираническими, - глупые или развращенные софисты, стремящиеся смешать противоположные вещи: они хотят подчинить одному и тому же режиму мир и войну, здоровье и болезнь...»<sup>65</sup> А вот обратное мнение. Убежденный революционер, прошедший через горнило американской и французской революций XVIII века, Т.Пейн утверждает, что в конце 1793 года справедливые и гуманные принципы революции, которые философия распространяла вначале, были оставлены: «Нетерпимый дух церковных гонений проник и политику; трибунал, величаемый революционным, занял место инквизиции, а гильотина - место костра»<sup>66</sup>. Под этими его словами подписались, по существу, и Ру, и Леклерк, и Демулен, и Кондорсе, и Радищев.

Казалось бы, историческая правота целиком на стороне Робеспьера, а не его противников. Аксиома аксиом - применение тех или иных террористических мер становится неизбежностью для любого революционного правительства, которому контрреволюция навязывает законы гражданской войны. Историческая прогрессивность якобинского террора доказана и последующий экономической и социальной эволюцией страны. Ударами своего страшного молота, писал Маркс, он стер «сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»<sup>67</sup>.

Но верно ли усматривать в осуждении якобинского террора многими радикальными мыслителями XVIII века (впоследствии утопическими социалистами XIX века) только ошибку и ограниченность? Сложность ответа станет совершенно очевидной, если попытаться выделить ряд объективных и субъективных моментов, которые сделали из робеспьеристов классическое воплощение революционного мелкобуржуазного «терроризма». Разобраться в этом надо для выявления исторической ограниченности форм и методов революции, которую Робеспьеру и Сен-Жюсту пришлось возглавить.

Любая социально-политическая революция неминуема без применения - в той или иной форме - принудительных мер по отношению к свергаемым классам. Эти меры *становятся тем решительнее и беспощаднее, чем глубже распаивает революция сложившиеся веками пласты социальных отношений*. «Терроризм» французской революции - одной из классических буржуазных революций - был порожден прежде всего развитием антагонизма между буржуазной «нацией» и свергнутыми феодалами. Но на своем заключительном, якобинском этапе, когда революционному правительству пришлось опереться на поддержку плебейских масс, буржуазная революция стала задевать не только феодалов, но куда более широкие буржуазные слои. Жестко регламентируя законами о максимуме сферу потребления и сохраняя в то же время частную буржуазную собственность, систему денежного хозяйства, якобинское государство не могло не вводить дополнительно принудительных и чисто террористических мер. Заставить владельца фабрики или крестьянина-собственника производить, одновременно разоряя его реквизициями и ограничивая его связь с рынком, нельзя было вообще никаким иным способом. «Чтобы проводить законы, нарушавшие все частные интересы, - пишет А.Матьез о событиях тех лет, - необходимо было усилить диктатуру центральной власти, систематизировать ее, охватить всю Францию армией полиции и солдатских постоев, уничтожить все свободы, контролировать через Центральную продовольственную комиссию все сельскохозяйственное и промышленное производство страны, без конца прибегать к реквизициям, захватить в свои руки транспорт и торговлю... создать повсюду новую бюрократию, чтобы пустить в ход громадный аппарат снабжения, ввести нормирование потребления при помощи карточной системы, прибегнуть к системе домашних обысков, заполнить тюрьмы подозрительными, заставить гильотину работать перманентно. Политический террор сливался с экономическим, шел с ним нога в ногу»<sup>68</sup>.

В условиях, когда эконом и чески и политически общество не созрело для «огосударствления» средств производства, вся система якобинских принудительных мер не могла функционировать сколько-нибудь длительный срок. Вожди якобинской диктатуры, имевшие самые смутные представления о социальной структуре общества, тенденциях его экономического развития, не могли ни предвидеть последствий практикуемого ими революционного насилия, ни поставить ему предел. К.Маркс точно определил воззрения якобинцев как классический образец ограниченного политического рассудка, не способного, несмотря на максимум энергии, найти реальные средства исцеления общественных недугов, видевшего причину их в контрреволюционном, подозрительном образе мыслей собственников, а главный путь спасения - в рубке голов<sup>69</sup>.

Разумеется, сознанию творцов террористического режима (скажем, того же Робеспьера) была присуща идея о временности принципа, «применяемого отечеством в крайней нужде». Сен-Жюст шел к мысли о том, что террор вообще не может сделать нацию добродетельной: «Террор - обоюдоострое оружие, которым одни пользовались для отмщения народа, другие - служа тирании; террор наполнил арестные дома, но не наказал виновных; террор пронесся, как буря. Ждите прочной строгости нравов в характере народа только от силы учреждений»<sup>70</sup>. Однако все эти оговорки не меняют дела. Хотя ни Робеспьер, ни Сен-Жюст не доходили в своей деятельности до тех крайностей, которыми отличались Фуше, Каррье или Колло д'Эрбуа, и для них гильотина стала и конце концов главным орудием решения все новых противоречий, порождаемых углублением революции, орудием избавления от неугодных соперников из собственного республиканского стана.

Отсутствие ясных представлений о формах и границах применения насильственных средств и мер органически дополнялось у радикальных идеологов революции фабрикацией ложных обвинений, призванных, за отсутствием достаточно веских улик, оправдать отправку своих бывших сподвижников на эшафот. Тягостно читать речи и статьи вождей соперничавших революционных фракций, изобилующие взаимными обвинениями в «измене», «связях» с Питтом, с Кобленцом, или вспоминать якобинскую практику процессов - «амальгам». И дело здесь не просто в некоторых «мало симпатичных чертах в характере Робеспьера», как полагал Н.М.Лукин, стоявший у истоков русской школы историков Великой французской революции, в его «лицемерии или неразборчивости в средствах»<sup>71</sup>, а в примитивности, ограниченности самого типа мышления мелкобуржуазных революционеров, видевших в противнике своего идеала человека прежде всего порочного, мышления, сводящего основные проблемы и противоречия революции к проискам контрреволюционеров, маскирующего смысл действительных процессов иллюзорными упрощающими формулами (хотя бы иллюзии эти и питались вполне реальным участием агентов контрреволюции в создании тех или иных трудностей и вполне реальными связями агентов Питта с некоторыми деятелями оппозиционных фракций).

В 1853 году в полемике с мелкобуржуазными демократами К.Маркс специально напомнил о слепоте так называемого революционного чувства, к которому апеллировали в свое время якобинцы и «которое в момент высшего напряжения изобрело lois des suspects (закон о подозрительных.- Е. П.) и заподозрило даже таких людей, как Дантон, Камилль Демулен и Анахарсис Клоутс, в том, что они сделаны из «теста» предателей»<sup>72</sup>. В 1877 году Ф.Энгельс, вспоминая о присущей М.А.Бакунину манере «забрасывания камнями» своих политических противников, прямо именует ее робеспьеровской: «Этим методом, заимствованным у блаженной памяти Максимилиана Робеспьера, Бакунин владел в совершенстве...»<sup>73</sup>

«Забрасываемые камнями» соперники Робеспьера, не только «снисходительные», но и «бешеные», перед угрозой неминуемой расправы стремительно катились к отрицанию всякого террора, диктаторской революционной власти вообще. Но очевидно и другое: якобинская практика порождала такое же отрицательное отношение к «терроризму» у многих радикальных мыслителей, изучавших ее, как и Радищев, со стороны, тем более что судили они о «царстве террора» только по его непосредственным политическим результатам. Потребовалось, чтобы прошло несколько десятилетий, пока теоретическая революционная мысль не дала якобинскому периоду революции глубокую, трезвую и многогранную оценку.

В противоположность «антитеррористам» XVIII века Маркс, Энгельс и Ленин расценивали период якобинской диктатуры как один из высших взлетов революционного движения, они звали пролетариат к продолжению боевых традиций якобинизма - традиций той беззаветной революционной смелости, энергии, которые сделали республиканскую Францию в критическом 1793 году.

Но высокие оценки вждами пролетариата подвига героев революционной Франции не мешали им видеть ограниченность действий этих героев, примитивность используемых ими форм и методов политической борьбы. Точно так же признание исторической прогрессивности якобинского террора никогда не вело Маркса, Энгельса, Ленина к апологии его исторически неизбежных крайностей, а тем более злоупотреблений, которыми сопровождался якобинский террор.

Выступая после событий Парижской Коммуны против нелепых попыток бланкистов канонизировать каждый террористический акт первого пролетарского правительства, Ф.Энгельс еще менее был склонен канонизировать якобинский мелкобуржуазный террор: «Разве это не то же самое, как если бы стали утверждать, что во время первой французской революции каждый обезглавленный получил по заслугам - сначала те, кто был обезглавлен по приказу Робеспьера, а затем - сам Робеспьер?»<sup>74</sup>

Критику крайностей мелкобуржуазного «терроризма» содержит и письмо Ф.Энгельса К.Марксу от 4 сентября 1870 года, где периоду «господства террора» дана следующая оценка: «Мы понимаем под последним господство людей, внушающих ужас; в действительности же, наоборот,- это господство людей, которые сами напуганы. Террор - это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделявавших свои делишки при терроре»<sup>75</sup>.

В одном из поздних писем Ф.Энгельс уточняет свою позицию, пытаясь определить историческую грань, когда террор из меры, оправданной военной обстановкой, стал «бесполезной жестокостью»: «Что касается террора, то он был по существу военной мерой до тех пор, пока вообще имел смысл. Класс или фракция класса, которая одна только могла обеспечить победу революции, путем террора не только удерживала власть (после подавления восстаний это было нетрудно), но и обеспечивала себе свободу действий, простор, возможность сосредоточить силы в решающем пункте,

действовали успешно. Коммуна с ее крайним направлением стала излишней; ее пропаганда революции сделалась помехой для Робеспьера, как и для Дантона, которые оба - каждый по-своему - хотели мира. В этом конфликте трех направлений победил Робеспьер, но с *тех пор террор сделался для него средством самосохранения* и тем самым стал абсурдом...»<sup>76</sup>

Вождю социалистической революции XX века В.И.Ленину пришлось не только в теоретических статьях подчеркивать принципиальную разницу пролетарских и мелкобуржуазных форм и методов борьбы, но и определять на практике совершенно неуловимую для якобинцев грань, когда террор из меры необходимой, революционно-целесообразной грозил обратиться в свою противоположность. И как раз в те периоды, когда Советская власть пыталась переходить (как было в 1918 году) или переходила (как было в 1921 году) от военных задач к очередным экономическим задачам, когда место военной угрозы занимала угроза куда более опасная, связанная с разгулом мелкобуржуазной стихии в разоренной войной стране, Ленин особенно резко настаивал на различии политических методов большевиков и якобинцев.

Пролетарский революционный гуманизм не исключает ни применения ответного насилия по отношению к насильникам-эксплуататорам, ни готовности идти на жертвы - ради избавления человечества от еще больших жертв. В годы Великой Октябрьской революции пролетарская диктатура, несмотря на все стенания оппортунистов II Интернационала, не поколебалась ответить беспощадным красным террором на белый террор, грозивший бесчисленными жертвами трудящимся классам России. Но вождь Октября никогда не упускал из виду *вынужденности* насильственных мер, а главное - умел ставить им предел. Для Ленина, как и для его учителей, революционность существовала не ради самой революционности. Ему, как и основоположникам марксизма, был абсолютно чужд мелкобуржуазный лозунг - революция какой угодно ценой.

Для понимания исхода мелкобуржуазного терроризма важно и выявление характера сдвигов, которые происходили в революционной Франции в организации системы репрессивных мер. Если до осени 1793 года террор был наполовину стихийным, наполовину организованным из центра; если разнообразные репрессивные органы в провинциях в период острого национального кризиса зачастую брали на себя инициативу действий, не дожидаясь указаний из Парижа, обгоняя центр; если эти репрессивные органы сначала избирались и так или иначе контролировались снизу (по крайней мере, со стороны активного революционного меньшинства), то с этого времени дело решительно меняется. Карательные органы становятся правительственными органами, их сотрудники - платными чиновниками, подчиненными только и исключительно центру. Централизация аппарата, проводимая Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности, идет параллельно с сужением демократии и в центре и на местах. «Сломив партии одну за другой, - пишет Матьез, - Комитеты освободились на несколько месяцев от стеснявшей их оппозиции. Столь беспокойный прежде Конвент соглашался теперь на все, что ему предлагали... Начиналась настоящая диктатура правительства. Парижские власти были очищены и составлены из верных людей... Новые власти были послушны, но, имея в своем составе одних лишь чиновников, уже не являлись больше представительными органами населения... Помимо секционных трибун, открытых два раза в декаду, существовала только одна свободная трибуна, трибуна якобинцев. Но эта трибуна, находившаяся под строгим надзором, была занята большую часть времени чиновниками из революционного трибунала и различных управлений. Новая террористическая бюрократия завладела всеми местами. Злоупотребления властью приняли такие размеры, что Дюбуа-Крансе предложил исключить бюрократию из клубов... Комитеты, в особенности Сен-Жюст, видели зло, но были связаны по рукам и ногам. Кто остался бы в клубах, если бы из них изгнали чиновников? Основание режима суживалось по мере его концентрации... «Революция окончена, - писал Сен-Жюст в своем сочинении «Республиканские учреждения», - все принципы ослабли, остались только красные колпаки, прикрывающие интригу. Террор притупил преступление, подобно тому как крепкие напитки притупляют вкус»<sup>77</sup>.

Попытки опираться на государственный террористический аппарат, а не на плебейские массовые организации, стремление с помощью террора сохранять равновесие в условиях поляризации классовых сил вели к быстрому отрыву государственной организации от масс, размывали фундамент под величественным зданием якобинского «деспотизма свободы». В последние месяцы диктатуры террористическая машина мелкобуржуазных революционеров приобретает все большую автономность, самодовлеющий ход. Социальная функция террора отступает на второй план; террор превращается в средство самосохранения якобинской диктатуры и ее вождей.

В таких условиях малейшее нарушение равновесия между двумя правящими органами - Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности - или даже те или иные коллизии внутри первого, более влиятельного из них, могли оказаться роковыми для судеб революционного правительства. Термидор, при том развитии событий, которому следовала Французская революция, был неизбежен. Предчувствием неотвратимой гибели отмечены последние речи Робеспьера и Сен-Жюста, а еще более - их действия, вернее, их бездействие в роковую ночь с 9 на 10 термидора, когда, казалось, еще можно было перетянуть на свою сторону колебавшуюся чашу весов.

Террор, навязавший всей Франции волю парижских предместий, в конце концов парализовал эту волю; террор, бывший оружием победы в руках вождей революции, уничтожил этих вождей. Исполнилось пророчество, высказанное Дантоном в его знаменитой речи в Конвенте 27 марта 1793 года: «Революции разжигают все страсти. Великий народ в революции подобен металлу, кипящему в горниле: статуя свободы еще не отлита, металл еще только плавится; если вы не умеете обращаться с плавильной печью, вы все погибнете в пламени»<sup>78</sup>.

Отправив вождей якобинцев на плаху и решив разбить созданную якобинцами централизованную диктатуру, заменить ее тщательно продуманным «равновесием властей», термидорианцы вскоре потерпели полное фиаско в своих начинаниях. Первая, а особенно вторая Директории начинают уже систематическую политику централизации власти и искоренения всякого народоправства, пока, наконец, на почве предельного обострения вражды полярных классовых сил, более или менее уравновешивающих друг друга (оживших было роялистов и недобитых якобинцев), - этой классической почве бонапартизма<sup>79</sup> - не произрастет бонапартизм в классической его форме, который будет опираться прежде всего на армию (ранее не участвовавшую во внутренней политической борьбе) и на всюмо ущую бюрократию, превращенную Наполеоном в своеобразное «чиновничество».

Выясняя характер эволюции буржуазной государственности, К.Маркс писал, что первая французская революция вынуждена была «развить далее то, что было начато абсолютной монархией, то есть централизацию и организацию государственной власти, и расширить объем и атрибуты этой власти, число ее пособников, ее независимость и ее сверхъестественное господство над действительным обществом - господство, которое фактически заменило собой средневековое сверхъестественное небо с его святыми»<sup>80</sup>.

Впрочем, и до Маркса теоретическая революционная мысль схватывала отдельные отрицательные черты государственной практики якобинизма (или государственной практики буржуазных революций вообще). Это выражалось не только в обличениях Радищева, Ру или Пейна, но, скажем, и в позитивных попытках бабувистов придумать такую систему революционных органов, которая сделала бы управление государством и оборону отечества «делом всех граждан». При всей умозрительности мер, предлагавшихся ими на случай победы революции, само направление их мысли было плодотворным.

Поискам решения на новой, пролетарской классовой основе задачи, сформулированной еще бабувистами, задачи создания такой революционной власти, которая действовала бы *в интересах народа и при посредстве народа*, специально посвящены работы гениальных теоретиков научного социализма: в XIX веке «Гражданская война во Франции» К.Маркса, а в XX веке - «Государство и революция» В.И.Ленина.

#### Примечания

<sup>1</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч. М.-Л., 1938, т.1, с.97.

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.8, с.119.

<sup>3</sup> Мияковский В. «Песнь историческая» А.Н.Радищева и «Considerations» Монтескье. - ЖМНП (Журнал Министерства народного просвещения), 1914, № 2, с.236-248.

<sup>4</sup> См.: Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.455.

<sup>5</sup> Монтескье Ш., Избранные произведения, М., 1955, с.95.

<sup>6</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.110-111.

<sup>7</sup> См.: Монтескье Ш. Избранные произведения, с.61-66.

<sup>8</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.93, 97.

<sup>9</sup> Там же, с.113.

<sup>10</sup> Saint-Jast. Discours et rapports. P., 1957, p.84.

<sup>11</sup> Название германского города Кобленца, центра контрреволюционной французской эмиграции, стало в тот период нарицательным.

<sup>12</sup> Уильям Питт (1759-1806) - премьер-министр Великобритании, злейший враг Французской революции.

<sup>13</sup> Прозвище, данное группе плебейских революционеров во время Французской революции их противниками.

<sup>14</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.32, с.319.

<sup>15</sup> Цит. по: Walter G. La Revolution francaise vue par ses journaux. P., 1948, p.331-334.

<sup>16</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.105-106.

<sup>17</sup> Там же, с.108, 109.

<sup>18</sup> Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. с.152.

<sup>19</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.358. Здесь и далее ода «Вольность» цитируется по конспективному варианту, включенному в «Путешествие из Петербурга в Москву».

<sup>20</sup> Там же. с.361.

<sup>21</sup> См. там же.

<sup>22</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.360.

<sup>23</sup> Там же, с. 361.

<sup>24</sup> См.: Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.84, 85, 94, 99, 101, 105.

<sup>25</sup> Там же, с.97-98.

<sup>26</sup> См.: Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.114, 115-117, 119, 120.

<sup>27</sup> Там же, с.111.

<sup>28</sup> Там же, с.121.

<sup>28a</sup> Там же, с.87, 102.

<sup>29</sup> Там же, с.95.

- <sup>30</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т.1, с.127, 128.
- <sup>31</sup> Там же, с.108.
- <sup>31а</sup> Споры в советской литературе о «духовной драме» Радищева последних лет его жизни рассмотрены в нашей статье «Дорогу проложить, где не бывало следу...» (Вопросы философии, 1982, № 5). Кстати, на исход спора не влияют когда-то нашумевшие открытия Г. Шторма о «дописывании» Радищевым в последние годы «Путешествия из Петербурга в Москву», придании ему еще большего революционного звучания и т. д. Выявленная в ходе острой полемики реальная суть открытия Г. Шторма свелась к тому, что в 1800 году в безвестном Саровском монастыре просто-напросто переписывался (возможно, для самого Радищева) текст «Путешествия...» времен его написания. Переписчики включили в рукопись, это признает и сам Шторм, варианты «ранние, заведомо худшие», уже «отвергнутые писателем». Таким образом, то, что представлялось Г. Шторму «дополнениями важнейшими», оказалось простым разночтением текстов (см.: Шторм Г. Потаенный Радищев. М., 1974, с.262, 265-268, 286). Не подтвердилась и версия Г. Шторма о какой-то коренной переработке Радищевым в последние годы оды «Вольность».
- <sup>32</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20, с.268.
- <sup>33</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 98. Напомним для сравнения пушкинскую оценку Робеспьера: «Сентиментальный тигр» (см.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.-Л., 1949, т.7, с.357).
- <sup>34</sup> Saint-Just. Discours et rapports, p.145.
- <sup>35</sup> Camilles Desmoulins. Biographie, bibliographie, pages choisis par Ch. Simond. P., 1910, p.22, 26.
- <sup>36</sup> Марат Ж.-П. Избранные произведения. М., 1956. т.3, с.159.
- <sup>37</sup> Цит. по: Матьез А. Французская революция. М., 1929, т.2, с.30.
- <sup>38</sup> Марат Ж.-П. Избранные произведения, т.3. с.203.
- <sup>39</sup> Согласно подсчетам английского историка Д.Грира, по приговорам революционных трибуналов в 1793-1794 годах было казнено около 17 тысяч человек (Greer D. The Incideude of the Terror. A Statistical Interpretation, 1935). К этому надо добавить по крайней мере столько же казненных без суда или погибших в тюрьмах. Точное число арестованных «подозрительных» неизвестно. Оно варьируется, по разным данным, от 70 тысяч до 500 тысяч человек.
- <sup>40</sup> Собуль А. Первая республика. М., 1974, с.90-91.
- <sup>41</sup> Марат Ж.-П. Избранные произведения, т.2, с.132, 185, 235; т. 3, с.129, 262.
- <sup>42</sup> Saint-Just. Discours et rapports, p.117-118.
- <sup>43</sup> На последних номерах «Публициста» точная дата отсутствует, они датируются приблизительно по обозначенным на них именам председателей Конвента.
- <sup>44</sup> Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1965, Т.1, с.169-170.
- <sup>45</sup> Там же, т.3, с. 91,113.
- <sup>46</sup> Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т., т.1, с.245.
- <sup>47</sup> Там же, т.3, с.92.
- <sup>48</sup> Там же, т.1, с.231, 269.
- <sup>49</sup> Там же, т.3, с.111-112.
- <sup>50</sup> Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т., т.1, с.208.
- <sup>51</sup> Цит. по: Soboul A. Robespierre und die Volksgesellschaften. - Maximilien Robespierre. 1758-1794. В., 1961, S.280-281.
- <sup>52</sup> Робеспьер М. Революционная законность и правосудие. М.. 1959, с.105, 93.
- <sup>53</sup> Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т., т.1, с.229.
- <sup>54</sup> Робеспьер М. Революционная законность и правосудие, с.168, 222.
- <sup>55</sup> Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т., т.1, с.151, 152, 153.
- <sup>56</sup> Там же, т. 3, с.44, 45, 112.
- <sup>57</sup> Бабёф Г. Соч. В 4-х т. М., 1977, т.3, с.31.
- <sup>58</sup> Гете И.-В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. с.393.
- <sup>59</sup> См.: Радищев А.Н. Полн, собр. соч., т.1. с.12, 14, 230.
- <sup>60</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.12, с.434.
- <sup>61</sup> См.: Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т., т.1, с.104.
- <sup>62</sup> Raynal G.Th. L'Histoire philosophique et politique des etablissements et du commerce europeens dans les deux Indes, vol.4. Geneve, 1780, p.472-473, 551-552.
- <sup>63</sup> Гёте И.-В. Фауст. М., 1953, с.354.
- <sup>64</sup> Собуль А.Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966; Захер Я.М. Движение «бешеных». М., 1961; Ревуненков В.Г. Парижские санкюлоты эпохи Великой французской революции. Л., 1971; Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978; Адо А.В. К вопросу о социальной природе якобинской диктатуры. - Новая и новейшая история, 1972, № 1; его же. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и ее современные критики. - Новая и новейшая история, 1981, № 3.
- <sup>65</sup> Робеспьер М. Избранные произведения. В 3-х т., т.3, с.91.

<sup>66</sup> *Пейн Т.* Избранные сочинения. М., 1959, с. 295.

<sup>67</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 4, с. 299.

<sup>68</sup> *Матъез А.* Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.-Л., 1928, с.457.

<sup>69</sup> См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т.1, с.439.

<sup>70</sup> *Saint-Just.* Discours et rapports, p.147.

<sup>71</sup> См.: *Лукин Н.М.* Избранные труды. В 3-х т, М., 1960, т.1, с.153.

<sup>72</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т.9, с.303.

<sup>73</sup> Там же, т.19, с.102.

<sup>74</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т.18, с.516.

<sup>75</sup> Там же, т.33, с.45.

<sup>76</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т.37, с.127.

<sup>77</sup> *Матъез А.* Французская революция. М., 1930, т.3, с.159-160.

<sup>78</sup> Цит. по: [Фридланд Ц. Дантон. М., 1965](#), с.245.

<sup>79</sup> См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т.34, с.49.

<sup>80</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т.17, с.544.

\* Шарлотта Корде не была роялисткой: во-первых, она не принадлежала ни к какой фракции либо партии, во-вторых, сохранилось достаточно свидетельств ее республиканских убеждений, и даже в материалах судебного процесса обвинение в роялизме не фигурирует. (*Люсиль, редактор Vive Liberta*)